

**ЕВГЕНИЙ
ЗАМЯТИН**

НА

КУЛИЧКАХ

Евгений Иванович Замятин

На куличках

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171992

Аннотация

В русской литературе Евгений Замятин продолжил ту линию, которую принято называть критической, берущей начало от Гоголя, Салтыкова-Щедрина, а более близких по времени писателей – Ф.Сологуба. Константин Федин называл Замятина «гроссмейстером литературы» и считал, что его «нехитро угадать по любой фразе». За антивоенную по духу повесть «На куличках», героями которой являются не только дальневосточные офицеры и солдаты, но и вся «загнанная на кулички Русь», Замятин был привлечен к суду, а номер журнала «Заветы», в котором была опубликована повесть, был конфискован.

Содержание

1. Божий зевок.	4
2. Картофельный Рафаэль.	7
3. Петяшку крестят.	13
4. Голубое.	18
5. Сквозь Гуслиякина.	23
6. Лошадиный корм.	28
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Евгений Иванович Замятин

На куличках

Повесть

1. Божий зевок.

Есть у всякого человека такое, в чем он весь, сразу, чем из тысячи его отличишь. И так же у Андрея Иваныча – лоб: ширь и размах степной. А рядом нос – русская курнофеечка, белобрысые усики, пехотные погоны. Творил его Господь Бог, размахнулся: лоб. А потом зевнул, чего-то скушно стало – и кой-как, тят-ляп, кончил: сойдет. Так и пошел Андрей Иваныч с Божьим зевком жить.

Вздумал прошлым летом Андрей Иваныч – в академию готовиться. Шутка ли сказать: на семьдесят рублей одних книг накупил. Просидел над книгами все лето – и случилось в августе на Гофманский концерт попасть. Господи Боже мой: сила какая. Куда уж там академией заниматься: ясное дело – быть Андрею Иванычу Гофманом. Недаром же все в полку говорили: так Андрей Иваныч играет Шопеновский похоронный марш – без слез слушать нельзя.

Под диван все книги академические, взял учительницу, засел Андрей Иваныч за рояль: весной в консерваторию по-

едет.

А учительница – светловолосая, и какие-то у ней особенные духи. Вышло: вовсе не музыкой занимался с ней Андрей Иванович всю зиму. И пошла консерватория прахом.

Что же, так теперь и прокисать Андрею Ивановичу субалтерном в Тамбове каком-то? Ну, уж это шалишь: кто-кто, а Андрей Иванович не сдастся. Главное – все сначала начать, все старое – к чорту, закатиться куда-нибудь на край света. И тогда – любовь самая настоящая, и какую-то книгу написать – и одолеть весь мир...

Так вот и попал Андрей Иванович служить – на край света, к чертям на кулички. Лежит теперь на диване – и чертыхается. Да как же, ей Богу: третий день приехал – и третий день от тумана не продыхнуть. Да ведь какой туман-то: оторопь забирает. Густой, лохматый, как хмельная дрема – муть в голове – притчится какая-то несуразная нелюдь – и заснуть страшно: закружит нелюдь.

Хоть какого-нибудь человеческого голоса захотелось – навождение свалить. Кликнул Андрей Иванович денщика.

– Эй, Непротошнов, на минутку!

Как угорелый, влетел денщик и влип в притолку.

– Скушно у вас, Непротошнов: туман-то, а?

– Н-не могу знать, ваше-бродие...

«Фу ты, Господи: какие глаза рыбы. Но можно же его чем-нибудь»... – Ну что, Непротошнов, через год домой, а?

– Так тошно, ваше-бродие.

– Жена-то есть у тебя?

– Так тошно, ваше-бродие.

– Небось, по ней соскучился? Соскучился, говорю, а?

Что-то тускло мигнуло в Непротошнове.

– Как она, есть конкурент моей жизни, жена-то... то я...

и потух, спохватился, вытянулся Непротошнов еще больше.

– Да что: разлюбил, что ли? Ну?

– Н-не могу знать, ваше-бродие...

«О, ч-чорт... Ведь вот: был, наверно, в деревне – первый гармонист, а теперь – рыбы глаза. Нет, надо будет от него отвязаться»... – Ладно. Иди к себе, Непротошнов.

Отвалился Андрей Иваныч к подушке. В окно полз туман лохматый, ватный: ну просто не продыхнуть.

Перемогся – и хоть с храпом – а продыхнул Андрей Иваныч, и сам же услышал свой храп: заснул.

«Батюшки, что же это я – среди бела дня сплю...»

Но запутал туман паутиной – и уж не шевельнуть ни рукой, ни ногой.

2. Картофельный Рафаэль.

– Их преосходительства господина коменданта нету дома.

– Да ты, братец, узнай хорошенько. Скажи, мол, поручик

Половец. Половец, Андрей Иванович.

– Полове-ец?

У денщика генеральского – не лицо, а начищенный самовар медный: до того круглое, до того лоснится. И был себе самовар заглохший, а тут вдруг начал пузыриться, закипать:

– Полове-ец? Ах-и-батюшки, позабыл я, дома они. Половец – ну как же: – дома, пожалте. Только заняты малость.

Денщик отворил из сеней дверь налево. Андрей Иванович нагнулся, вошел. «Да нет... да может, не туда?»

Дым коромыслом, чад, суета, шипит что-то, луком жареным пахнет...

– Кто та-ам? Поближе, поближе, не слы-ы-шу!

Андрей Иванович шагнул поближе:

– Честь имею явиться вашему превосходительству...

Да чорт-те возьми: да уж он ли это, генерал ли? Передник кухарский и беременное пузо, подпертое коротышками-ножками. Голая, пучеглазая, лягушачья голова. И весь разлтый, растопыренный, лягва огромная, – может под платьем-то и пузо даже пестрое, бело-зелеными пятнами.

– Явиться? Гм, хорошее дело, хорошее дело... офицеров у меня мало. Запивох – это сколько угодно, – буркнул генерал.

И опять занялся своим делом: тонкими на диво ломтиками кромсал крупчатый белый картофель. Нарезал, вытер фартуком руки, сигнул бочком к Андрею Иванычу, усталился, обглядел и закричал сердито, снизу откуда-то, как водяной из бучила:

– Ну, что за нелегкая сюда занесла? Майн-Ридов начитался, а? Сидел бы себе, голубеночек, в России, у мамыши под подолом, чего бы лучше. Ну что, ну зачем? Возись тут потом с вами!..

Андрей Иваныч оробел даже: уж очень сразу наскочил генерал.

– Я, ваше превосходительство... Я в Тамбове... А тут, думаю, море... Китайцы тут...

– Ту-ут! Едут сюда, думают тут...

Но не кончил генерал: зашипело что-то на плите предсмертным шипом, закурился пар, паленым запахло. Мигом генерал пересигнул туда и кого-то засыпал, в землю вбил забористой руганью.

Тут только оглядел Андрей Иваныч поваренка-китайца в синей кофте-курме: стоял он перед генералом, как робкий звереныш какой-то на задних лапках.

– Р-раз, – и чмокнулась в поваренка звонкая оплеуха.

А он – ничего: потер только косые свои глаза кулачками, чудно так, быстро, по-заячьи.

Отдувался генерал, плескалось под фартуком его пузо.

– Уф-ф! Замучили, в лоск. Не умеют, ни бельмеса не

смыслят: только отвернись – такого настряпают... А я смерть не люблю, когда обед так вот, шата-валя, без настроения варганят. Пища, касатик, дар Божий... Как это, бишь, учили-то нас: не для того едим, чтобы жить, а для того живем, чтобы... Или как бишь?

Андрей Иванович молча во все глаза глядел. Генерал взял салфетку и любовно так, бережно, перетирал тонкие ломтики картофеля.

– Картошка вот, да. Шваркнул, мол, ее на сковородку и зажарил, как попало? Вот... А которому человеку от Бога талант даден, тот понимает, что в масле ни в ко-ем случае... Да в масле? Да избави тебя Бог! Во фритюре – обязательно, непременно, запомни, запиши, брат – во фритюре, раз-на-всегда.

Генерал взял лимон, выжимал сок на ломтики картофеля, Андрей Иванович насмелел и спросил:

– А зачем же, ваше превосходительство, лимон?

Видимо, пронзило генерала такое невежество. Отпрыгнул, орет откуда-то снизу – водяной со дна из бучила:

– Ка-ак зачем? Да без этого ерунда выйдет, профанация. А покропи, а сухо-на-сухо вытри, а поджарь во фритюре... Картофель a la lyonnaise – слышал? Ну, куда-а вам! Сокровище, перл, Рафаэль! А из чего? Из простой картошки, из бросовой вещи. Вот, миленок, искусство что значит, творчество, да...

«Картошка, Рафаэль, что за чушь! Шутит он?» – поглядел Андрей Иванович.

Нет, не шутит. И даже – видать еще вот и сейчас – под пеплом лица мигает и тухнет человечье, далекое.

... "Пусть картофельный, – хоть картофельный Рафаэль".

Андрей Иваныч поклонился генералу, генерал крикнул:

– Ларька, проводи их к генеральше. До свидания, голубенок, до свидания...

Бывают в лесу поляны – порубки: остались никчемушные три дерева, и от них только хуже еще, пустее. Так, вот, и зал генеральский: редкие стулья; как бельмо – на стене полковая группа. И как-то некстати, ни к чему, – приткнулась генеральша посередине зала на венском диванчике.

С генеральшей сидел капитан Нечеса. Нечесу Андрей Иваныч уже знал: запомнил еще вчера включенную его бороду в крошках. Поклонился генеральше, поцеловал Андрей Иваныч протянутую руку.

Генеральша переложила стаканчик с чем-то красным из левой руки опять в правую и сказала поручику, однотонно, глядя мимо:

– Садитесь, я вас – давно – не видала.

... "То есть как – давно не видала?"

И сразу сбила с панталыку Андрея Иваныча, выскочила из головы у него вся приготовленная речь.

Капитан Нечеса, кончая какой-то разговор, пролаял хрипло:

– Так вот-с, дозволейте вас просить – в крестные-то, уж уважьте...

Генеральша отпила, глаза были далеко – не слыхала. Сказала – ни к селу, ни городу – о чем-то о своем:

– У поручика Молочки пошли бородавки на руках. Кабы еще на руках, а то по всему по телу... Ужасно неприятно – бородавки.

Как сказала она «бородавки» – так за спиной у Андрея Иваныча что-то шмыгнуло, фыркнуло. Оглянулся он – и увидел позади, в дверной щели, чей-то глаз и веснучатый нос.

Капитан Нечеса повторил умильно:

– ...Уважьте – в крестные-то!

Должно быть теперь услышала генеральша. Засмеялась невесело, треснуто – и все смеется, все смеется, никак не перестанет. Еле выговорила, к Андрею Иванычу обернувшись:

– Девятым, разрешилась капитанша Нечеса, – девятым. Пойдемте со мной, – в крестные отцы?

Капитан Нечеса закомкал свою бороду:

– Да, матушка, простите Христа ради. Уж есть ведь крестный-то. Жилец мой, поручик Тихмень, обещано ему давно...

Но генеральша уж опять не слыхала, опять – мимо глядела, прихлебывала из стаканчика...

Андрей Иваныч и капитан Нечеса ушли вместе. Хлюпала под ногами мокреть, капелью садился на крыши туман и падал оттуда на фуражки, на погоны, за шею.

– Отчего она какая-то такая... странная, что ли? – спросил Андрей Иваныч,

– Генеральша-то? Господи, хорошая баба была. Ведь я тут

двадцать лет, как пять пальцев вот... Ну, вышла такая история – да лет семь уж, давно! – младенец у ней родился – первый и последний, родился да и помер. Задумалась она тогда – да так вот задуманной и осталась. А как опомнится – такое иной раз, ей Богу, ляпнет... Да вот – Молочко, бородавки-то: и смех ведь, и грех!

– Ничего не понимаю.

– Поживете – поймете.

3. Петяшку крестят.

Ну, ладно. Ну, родила капитанша Нечеса девятого. Ну – крестины, – как будто что ж тут такого? А вот у господ офицеров – только и разговору, что об этом. Со скуки это, что ли, от пустоты, от безделья? Ведь и правда: устроили какой то там пост, никому не нужный, наставили пушек, позагнали людей к чертям на кулички: сиди. И сидят. И как ночью, в бессонной пустоте, всякий шорох мышиный, всякий сучек палый – растут, настораживают, полнят всего, – так и тут: встает неизмеримо всякая мелочь, невероятное творится вероятным.

Оно, положим, с девятым младенцем капитанши Нечесы не так уж просто дело обстоит: чей он, поди-ка раскуси? Капитанша рождает каждый год. И один малюкан – вылитый Иваненко, другой две капли воды – ад'ютант, третий – живой поручик Молочко, как есть – его розовая, телячья мордашка... А чей, вот, девятый?

И пуще всех тот самый Молочко взялся за дело. Очень просто почему. В прошлом году его в отцы капитаншину младенцу обрядили, проздравили и угощенье стробовали, – хотелось и ему теперь кого-нибудь подсидеть.

– Господа, да постоит же, – подпрыгнул Молочко как козлик, как теленочек веселый, молочком с пальца поеный, – господа, да ведь – Тихмень же жилец-то ихний... Да неужто

же капитанша его не приспособила? Не может того быть! А коли так, то...

– Бр-раво, и Молочко догадлив бывает, браво!

Так на Тихмене и порешили: может и не виноват он ни телом, ни духом, да уж очень над ним лестно потешиться, за тем, что Тихмень неизменно серьезен, длиннонос и читает, чорт его возьми, Шопенгауэра, там, или Канта, какого-то.

И, чтобы Тихменя захватить в расплох, чтобы не сбежал, только лишь за полчаса до крестин этих самых послали Молочко предупредить капитаншу о нашествии иноплеменных. По тутошнему называлось это: «пригласиться».

Капитанша лежала в кровати, маленькая и вся кругленькая: круглая мордочка, круглые быстрые глазки, круглые кудряшечки на лбу, кругленькие – все капитаншины атуры. Только, вот, сейчас вышел из спальни капитан, чмокнув супругу в щеку. И еще не затих, позванивал на полочке пузырьчатек какой-то от капитановых шагов, когда вошел поручик Молочко и, сказав: здравствуй, – чмокнул капитаншу в то же самое на щеке место, что и капитан.

Страсть не любила капитанша вот таких совпадений, положительно – это неприличное что-то. Сердито закатала круглые глазки:

– Чего целоваться лезешь, Молочишко? Не видишь, – я больна?

– Ну, ладно уж, ладно, целомудренная стала какая!

Уселся Молочко возле кровати. «Как бы это к Катюшке

под'ехать, чтобы приглашаться не сразу?»

– А знаешь, – подпрыгнул Молочко, – был я у Шмитов, целуются все, можешь себе представить? Третий год женаты – и до сих пор... Не понимаю!...

Капитанша Нечеса поздоровела, зарозовела, глазки раскрылись.

– Уж эта мне Марусечка Шмитова, уж такая принцесса, на горошине, фу-ты, ну-ты... Знаться ни с кем не желает. Вот, дай-ко съ, Бог-то ее за гордость накажет...

Переполоскали, перемыли Марусины косточки – и не о чем больше. Видно, делать нечего – надо начинать. Прокашлялся Молочко.

– Видишь ли, Катюша... Н-да... Ну, одним словом, мы все собираемся на крестины, хотим пригласиться. Надо отцом проздравить Тихменя. Я придумал, можешь себе представить?

Никак и не ждал Молочко, что так сразу согласится Катюшка. Залилась она кругленько, закатилась, под одеялом ножками забрыкала, за живот даже держится: ой, больно...

– Ну, и выдумщик ты, Молочишко: Тихменя – в отцы, а? Тихменя нашего длинноносого! Так его и надо, а то больно зачитался...

И вот – крестили. Генеральша улыбалась, глядела куда-то вверх, глазами была не здесь. Заспанным голосом читал по требнику гарнизонный поп. Вся ряса на спине была у него в пуху.

Неотрывно глядел на пушинки эти крестный, поручик Тихмень. Длинный, тощий, весь непрочный какой-то, стоял с ребенком на руках, удивленно водил своим длинным носом:

«Вот, ей-Богу, ввязался я... Закричит это на руках, ну что я буду делать?»

А «это на руках» оказалось даже еще хуже: в ужасе почувял поручик Тихмень, что руки у него вдруг намокли, и из теплого свертка закапало на пол. Забыл тут Тихмень всякую субординацию, ткнул, как попало, крестника на руки генеральше и попятился назад. Бог его знает, куда бы запятился, если бы стоявшая сзади компания с Молочко во главе не водворила его на место.

Пришло время уж и в купель окунать младенца. Заспанный поп обернулся к генеральше ребенка взять. А она не дает. Прижала к себе и отпустить не хочет, и кричит:

– Не дам, а вот и не дам, и не дам, он мой!

Поп оробело пятился к двери. Батюшки мои, что ж это? Суматошились, шептали. Кабы не Молочко, так и не докрестили бы, может. Молочко подошел к генеральше, взял ее за руку, как свой, и шепнул:

– Отпустите, зачем вам этот, у вас будет свой, можете себе представить. Раз я говорю... Разве ты мне не веришь? Мне?

Генеральша засмеялась блаженно, отпустила. Ну, слава-те, Господи! С грехом пополам докрестили и Петяшкой нарекли.

Тут-то и приступили господа офицеры к поручику Тихмению. Одним разом, по команде, все низко поклонились:

– Честь вас имеем, папаша, проздравить с новорожденным, с Петяшкой, на чаек с вашей милости...

Замахал Тихмень руками, как мельница.

– Как это – папаша? Я и не хочу вовсе, что вы такое! Терпеть не могу...

– Да в детях-то, милый, ведь Бог один волен. Уж там, можешь терпеть, иль не можешь...

Пристали – хоть плачь. Делать нечего: вечером Тихмень угощал в собрании. И пошло с тех пор: каждый день на занятиях спрашивали его, как, мол, здоровье сынишки – Петяшки. Задолбили, заморочили Тихмению голову Петяшкой этим самым.

4. Голубое.

Много ли человеку надо? Проглянуло солнце, сгинул туман проклятый – и уж мил Андрею Иванычу весь мир. Рота стоит и команды ждет, а он загляделся: шевельнуться страшно, чтобы не рухнули хрустальные голубые палаты, чтобы не замолкло золотой паутиной звенящее солнце.

Океан... Был Тамбов, а теперь Океан Тихий. Курит внизу, у ног, сонно-голубым своим куревом, мурлычет дремливую колдовскую песню. И столбы золотые солнца то лежали мирно на голубом, а то вот – растут, поднялись, подперли стены – синие нестерпимо. А мимо глаз плавно плывет в голубое в глубь Богородицына пряжа, осенняя паутинка, и долго следит Андрей Иваныч за нею глазами. Кто-то сзади его кричит на солдата:

– ...Где у тебя три приема? Ж-животина! Проглотил, смазал?

Но не хочет, не слышит Андрей Иваныч, не обертывается назад, все летит за паутиной...

– Ну что, танбовской? Или нравится – загляделся-то?

Делать нечего, оторвался, обернулся Андрей Иваныч. С усмешкой глядел на него Шмит – высокий, куда же выше Андрея Иваныча, крепкий, как будто даже тяжелый для земли.

– Нравится ли? Уж очень это малое слово, капитан Шмит. Ведь я, кроме Цны тамбовской, ничего не видал – и вдруг...

Подавляет... И даже нет: весь обращаешься в прах, по ветру летишь вот, как... Это очень радостно...

– Да что-о вы? Ну-ну! – и опять Шмитова усмешка, может – добрая, а может – и нет.

Для Андрея Иваныча она была доброй: весь мир был добрый. И он неожиданно даже для себя, благодарно пожал Шмиту руку.

Шмит потерял усмешку – и лицо его показалось Андрею Иванычу почти-что даже неприятным: неровное какое-то, из слишком твердого сделано, и нельзя было, как следует заровнять – слишком твердое. Да и подбородок...

Но Шмит уже опять улыбался:

– Вы соскучились, кажется, со своим денщиком? Мне говорил Нечеса.

– Да, уж чересчур он – «точно так»... Хочу поменяться на какого угодно, только бы...

– Так вот, меняйтесь со мной? Мой Гуслийкин – пьяница, говорю откровенно. Но до чрезвычайности веселый малый.

– Спасибо, вот уж спасибо вам! Вы мне очень много...

Простились. Андрей Иваныч шел домой, весь еще полный голубого. Итти бы ему одному и нести бы в себе это бережно... Да увязался Молочко.

– Ну что, ну что? – подставлял он Андрею Иванычу розовую, глупоглазую свою мордочку: охота узнать что-нибудь новенькое, что бы можно было с жаром рассказать и генеральше, и Катюшке, и вечером в собрании.

– Да ничего особенного, – сказал Андрей Иванович. – Шмит предложил денщика.

– Сам? Да что вы? Шмит ужасно редко заговаривает первый, – можете себе представить? А вы были у Шмитов? А у командира? Да бишь... командир в отпуску. Вот лафа – и вечном отпуску! Вот бы так, можете себе представить?

– У Шмитов еще не успел, – говорил Андрей Иванович рассеянно, все еще думая о сонно-голубом. – Был у Нечесов, у генерала. Генеральша – вдруг, ни к чему, о бородавках...

Спыхватился Андрей Иванович, да было уж поздно. Маковым цветом заалел Молочко, заиндючился и важно сказал:

– По-жа-луйста! Просил бы... Я горжусь, что удостоен, можно-сказать, доверия такой женщины... Бородавки тут абсолютно не при чем... Аб-со-лютно!

Надулся и замолчал. Андрей Иванович был рад.

У трухлявого деревянного домика Молочко остановился.

– Ну, прощайте, я здесь.

Но, попрощавшись, опять развернулся и в минуту успел рассказать про генерала, что он бабник из бабников, успел показать Шмитовский зеленый домик и что-то подмигнуть про Марусю Шмит, успел наболтать о каком-то непонятном клубе ланцепупов, о Петяшке поручика Тихменя...

Еле-еле стряхнул с себя все это Андрей Иванович. Стряхнул – и пошел снова сонный, заколдованный, поплыл в голубом, в сказочном, на тамбовское таком непохожем. Не видя, поводил глазами по деревянным, сутулым домишкам-грибам.

Вдруг застучали в окно, дробно так, весело.

– «Кому – мне?» – остановился Андрей Иванович перед зелененьким домиком. – «Да нет, не мне», – пошел дальше.

В зелененьком домике распахнулось окно, кликнул веселый голос:

– Эй, новенький, новенький, подите-ка сюда!

Недоуменно подошел Андрей Иванович и фуражку снял. «Но как же – но кто же это?»

– Послушайте, давайте-ка познакомимся, все равно ведь придется. Я Маруся Шмит, слышали? Сидела у окна – и думаю: а дай постучу. Ой, какой у вас лоб замечательный! Мне о вас муж говорил...

Бормочет что-то Андрей Иванович и глаза развесил: узкая, шаловливая мордочка, – не то тебе мышенка, не то – милой дикой козы. Узкие и длинные, наискось немного, глаза.

– Ну что, дивитесь? Озорная? Да мне не привыкать! Смерть люблю выкомаривать. Я в пансионе дежурной была в кухне – изжарила начальнице котлету из жеванной бумаги... Ой-ой-ой, что было! А за Шмитов портрет... Вы Шмита-то знаете? Да Господи, ведь он же про вас и говорил мне! Вы приходите как-нибудь вечером, что за визиты!..

– Да с удовольствием. Вы извините, я сегодня так настроен как-то, не могу говорить...

Но увидал Андрей Иванович, что и она замолчала, и куда-то мимо него смотрит. Принахмурилась малость. Возле губ – намек на недетские морщинки: еще нет их, когда-нибудь ля-

гут.

– Паутинка, – поглядела вслед золотой Богородицыной пряже.

Перевела на Андрея Иваныча глаза и спросила:

– А вы когда-нибудь о смерти думали? Нет, даже и не о смерти, а вот – об одной самой последней секундочке жизни, тонкой вот – как паутинка. Самая последняя, вот, оборвется сейчас – и все будет тихо...

Долго летели глазами оба за паутинкой. Улетела в голубое, была – и нету...

Засмеялась Маруся. Может, засмутилась, что вдруг так – о смерти. Захлопнула окошко, пропала.

Пошел Андрей Иваныч домой. «Все хорошо, все превосходно... И чорт с ним, с Тамбовом. И чтоб ему провалиться. А здесь – все милые. Надо поближе с ними, поближе... Все милые. И генерал – что ж, он ничего»...

5. Сквозь Гуслиякина.

С удовольствием спроводил Андрей Иванович своего так-точного истукана – Непротошнова. Полученный от Шмита Гуслиякин, действительно, оказался словоохотлив по-бабьи и не по-бабьи уж запивоха. То и знай, являлся с подбитой физией, изукрашенный кусками черного пластыря (пластырь этот Гуслиякиным величался «кластырь» – от «класть»: очень даже просто). Но и такой – с заплатками черными, и пусть даже пьяненький – все же он был для глаз Андрей-Иванычевых милее, чем Непротошнов.

Гуслиякин заметил, видно, расположение нового своего хозяина и пустился с ним в конфиденции в знак благодарности. Видимо, у Шмитов Гуслиякин, как по бабьей его натуре и надобно, дневал-ночевал у замочных скважин, да у дверных щелей. Сразу такое загнул что-то о Шмитовской спальне, что покраснел Андрей Иванович и строго Гуслиякина окоротил. Гуслиякин не мало был изумлен: «Господи, всякая барыня, да и всякий барин тутошний, – озолотили бы за такие рассказы слушали бы, как соловья, а этот... да наве-ерно – притворяется только...» – и опять начинал.

Как ни отбрыкивался Андрей Иванович, как ни выговаривал Гуслиякину, тот все вел свою линию и какие-то темные, жаркие, обрывочные видения поселил в Андрей-Иванычевой голове. То, вот, Шмит несет на руках Марусю, так, как

ребенка, и во время обеда держит, кормит из рук... То почему-то Шмит поставил Марусю в угол – она стоит, и рада стоять. То наложили дров в печку, топят печку вдвоем, перед печкой – медвежья шкура...

И когда Андрей Иваныч собрался, наконец, к Шмитам и сидел в их столовой, с милыми, избушечными, бревенчатыми стенами, – он прямо, вот, глаза боялся поднять: а вдруг она а вдруг Маруся – по глазам увидит, какие мысли... Ах, проклятый Гуслийкин!

А Шмит говорил своим ровным, ясным, как лед, голосом: – Гм... так, говорите, вам понравился Рафаэль картофельный? Да уж, хорош Сахар Медович! За хорошие дела к чертям на кулички генерала не засунули б. И теперь, вот, где солдатские деньги пропадают, где – лошадиные кормовые? Я уж чую, я чу-ую...

– Ну, Шмит, ты уж это слишком, – сказала Маруся ласково.

Не вытерпел Андрей Иваныч: с противным самому себе любопытством поднял глаза. Шмит сидел на диване, Маруся стояла сзади под пальмой. Перегнулась сейчас к Шмиту и тихонько, один раз, провела по жестким Шмитовым волосам. Один раз, – но, должно быть, так нежно, должно быть, так нежно.

У Андрея Иваныча так и екнуло. «Но какое мне дело?» Никакого, да. А щемит все сильнее. «Если бы вот так когда-нибудь мне один раз, только один раз...»

Проснулся Андрей Иванович, когда Шмит назвал его имя.

– ...Андрей Иванович у нас один-единственный, агничик невинный. А то все на подбор. Я? Меня сюда – за оскорбление действием, Молочку – за публичное непотребство. Нечесу – за губошлебство. Косинского – за карты... Берегитесь, агничик: сгинете тут, сопьетесь, застрелитесь...

Может оттого, что Маруся стояла под пальмой, или от усмешки Шмитовой – но только невтерпеж – Андрей Иванович вскочил:

– Это уж вы, знаете, слишком, уж на это-то меня хватит, чтобы не спиться. Да и что вам за дело?

– Ка-кой же вы! – засмеялась Маруся, золотая паутинка – самая последняя секундочка – зазвенела. – Ведь ты же, Шмит, шутишь? Ведь, да?

Опять наглянулась к Шмиту из-за дивана. «Только б не гладила... Не надо же, не надо», – молился Андрей Иванович, затаил дух... Кажется, она что-то спросила – ответил наобум-Лазаря:

– Нет, благодарю вас...

– То есть, как – благодарю? Вы о чем же это изволите думать? Ведь я спросила, были ли вы у Нечесов.

И только, когда Шмит уходил, Андрей Иванович становился Андрей Ивановичем, нет никакого Гусляйкина, не надо бояться, что она погладит Шмита, все просто, все ласково, все радостно.

Когда вдвоем – тут и думать не надо, о чем говорить: само

говорится. Так и скажут, и играют слова, как весенний дождь. Такой поток, что Андрей Иванович обрывает, не договаривает. Но она должна понять, она понимает, она слышит самое... Или, может, так кажется? Может, Андрей Иванович придумал себе свою Марусю? Ах, все равно, лишь бы...

Запомнился – уложен в ларчик драгоценный – один вечер. То все ведро стояло, теплынь, без шинелей ходили, это в ноябре-то. А тут вдруг дунуло сиверком. Синева побледнела, и к вечеру – зима.

Андрей Иванович и Маруся огня не зажигали, сидели, вслушиваясь в шушуканье сумерек. Пухлыми хлопьями, шапками сыпался снег, синий, тихий. Тихо пел колыбельную – и плыть, плыть, покачиваться в волнах сумерек, слушать, баюкать грусть...

Андрей Иванович отсел нарочно в дальний угол дивана от Маруси: так лучше, так будет только самое тонкое, самое белое – снег.

– Вот, дерево теперь все белое, – вслух думала Маруся, и на белом дереве – птица, дремлет уж час и два, не хочет улететь...

Тихое снежное мерцанье за окном. Тихая боль в сердце.

– Теперь и у нас, в деревне, зима, – ответил Андрей Иванович. – Собаки зимою ведь особенно лают, вы помните? Да? Мягко и кругло. Кругло, да... А в сумерках – дым от старновки над белой крышей, такой уютный. Все синее, тихое, и навстречу идет баба с коромыслом и ведрами...

Марусино лицо с закрытыми глазами было такое тревожно-бледное и нежное от снежных отсветов... Чтобы не видеть – уж лучше не видеть, – Андрей Иваныч тоже закрыл глаза...

А когда зажгли лампу, ничего уж не было, ничего такого, что привиделось без лампы.

И эти все слова о дремлющей на снежном дереве птице, синем вечере – показались такими незначущими, не особенными.

Но запомнились.

6. Лошадиный корм.

У русской печки – хайло-то какое ведь: ненасытное. Один сноп спалили и другой, и десятый – и все мало, и заваливают еще. Так, вот, и генерал за обедом: уж и суп поел, и колдунов литовских горку, и кашки пуховой гречишной покушал с миндальным молоком, и равиолей с десятков спровадил, и мяса черкасского, в красном вине тушеного, две порции усидел. Несет зайченоч-повар новое блюдо – хитрый какой-то паштет, крепким перцем пахнет, мушкатом, – как паштета не с'есть? Душа генеральская хочет паштета, а брюхо уж по сих пор полно. Да генерал хитер: знает как бренное тело заставить за духом итти.

– Ларька, вазу мне, – квакнул генерал.

Покатился самоварный Ларька, мигом притащил генералу большую, длинную и узкую, вазу китайского расписного форфора. Отвернулся в сторонку генерал и облегчился на древне-римский манер.

– Ф-фу! – вздохнул затем – и положил себе на тарелку паштета кусок.

За хозяйку сидела не генеральша: посади ее – натворит еще чего-нибудь такого. Сидела за хозяйку свояченица Агния, с веснушчатым, вострым носом. А генеральша устроилась поодаль, ничего почти что не ела, глазами была не здесь, прихлебывала все из стаканчика.

Покушав, генерал пришел в настроение:

– А ну-ка скажи, Агния, знаешь ли ты, когда дама офицером бывает, – ну, знаешь?

Веснушчатая, дощатая, выцветшая Агния почувяла какою-то каверзу, заерзала на стуле. Нет, не знает она...

– Ух ты-ы! Как же ты не знаешь? Тогда дама бывает офицером, когда она бывает... в каком чине? В каком чине, а? Поняла?

Затрепыхалась, заалела, закашляла Агния: кх-кх-кх! Куда и деваться не знала. Чай, ведь – девица она – и этокое... скоромное... А генерал заливался: сначала внизу, в бур-болоте на дне, а потом наверху, тоненькой лягушечкой.

Забылась Агния, занялась паштетом, глаза – в тарелку, быстро, быстро отправляла крошечные кусочки в рот. А генерал медленно нагибался, нагибался к Агнии, замер – да как гукнет вдруг на нее этаким басом, как из бучила:

– Г-гу-у!

Ихнула Агния благим матом, сидя, запрыгала на стуле, заморгала, запричитала:

– Штоп тебе... штоп тебе... штоп тебе...

Раз двадцать так вот «штоп тебе» – и под самый конец тихонько: провалиться, – штоп тебе провалиться, пр-ро-валиться"... Была у Агнии такая чудная привычка: все пугал ее со скуки из-за углов генерал – вот и привыкла.

Любил генерал слушать Агниевы причитанья, – разгасился, никак не передохнет – хохочет:

– Охо-хо, вот кликуша-то, вот порченная, вот дурья-то голова, охо-хо!

А генеральша прихлебывала, не слышала, далеко где-то, не тут жила.

Прикатился Ларька – запыхался.

– Ваше преосходительство, там капитан Шмит вас желает видеть.

– Шмит? Вот принесло... И поесть толком не дадут, чорт! Проси сюда.

Свояченица Агния выскочила из-за стола в соседнюю комнату, и скоро в дверной щели уже заходил веснушчатый ее нос, однажды мелькнувший Андрею Иванычу.

Вошел Шмит, тяжелый, высокий. Пол заскрипел под ним.

– А-а-а, Николай Пе-тро-вич, здравствуйте. Не хотите ли, миленочек, покушать? Вот, равиоли есть, пррев-вос-ходные! Сам, неженчик мой,стряпал: им, паршивцам, разве можно доверить? Равиоли вещь тонкая, из таких все деликатностей: мозги из костей, пармезанец опять же, сельдерей молоденький – ни-и-как не старше июльского... Не откажи, голубеночек.

Шмит взял на тарелку четырехугольный пирожок, равнодушно глотнул и заговорил. Голос – ровный, граненый, резкий, и слышится – на губах – невидная усмешка.

– Ваше превосходительство, капитан Нечеса жалуется, что лошади не получают овса, на одной резке сидят. Это совершенно немислимо. Сам Нечеса, конечно, боится притти

вам сказать. Я не знаю, в чем тут дело. Может, это ваш любимчик, как его... Мундель-Мандель; ну как его...

У генерала – прелестнейшее настроение: зажмурил свои буркалы и мурлычит:

– Мендель-Мандель-Мундель-Мондель... Эх, Николай Петрович, голубеночек, не в том счастье. Ну, чего тебе, еще надо? Видел я намедни Марусю твою. Ну, и кошечка же, ну и милочка – н-т-ц-а, вот что... И подцепил же ты! Ну, какого еще рожна тебе надо, а?

Шмит сидел молча. Железно-серые, небольшие, глубоко всаженные глаза еще глубже ушли. Узкие губы сжались еще уже.

Генеральша только сейчас услышала Шмита, поймала кусочек и спросила треснуто:

– Нечеса?

И забыла, замолкла. В дверной щели все ходил вверх и вниз веснущатый острый нос.

Шмит настойчиво и уже со злостью повторил:

– Я еще раз считаю долгом доложить вашему превосходительству: лошадиные кормовые куда-то пропадают. Я не хочу пускаться в догадки – кто, Мундель или не Мундель...

Вдруг опять проснулась генеральша, услышала: Мундель, – и ляпнула:

– Кормовые-то? Это вовсе не Мундель, а он, – кивнула на генерала. – Ему на обеды не хватает, проедается очень, – и засмеялась генеральша почти весело.

Шмит, как сталью, уперся взглядом в генерала:

– Я давно это знаю, если уж по правде говорить. И главное деньги пропадают, люди могут думать на меня, я – казначей. Этого я не могу допустить.

Узко сжаты Шмитовы губы, все лицо спокойно, как лед. Но как синий напряженный лед в половодье: секунда – и ухнет с грохотом хлынет сокрушающая, неистовая, весенняя вода.

А генерал хлынул уже. Зяпнул нутряным своим басом:

– До-пус-тить? Ка-ак-с?

И остутился на злючий визг:

– Капитан Шмит, встать, руки по швам, с вами говорит генерал Азанчеев!

Шмит встал, спокойный, белый. Генерал тоже вскочил, громыхнул стулом и накинулся на Шмита, осыпал, оглоушил:

– М-мальчишка! Ты с-смеешь не до-пу-скать, а? Мне, Азанчееву? Да ты з-знаешь, я т-тебя в двадцать четыре часа...

Искал, чем бы кольнуть Шмита побольнее:

– Да давно ли ты стоял тут и просил разрешения, да-р-разрешения у меня жениться. А теперь завел себе девчонку хорошенькую – и д-думаешь, и уж б-большой стал, и все тебе можно! М-мальчишка!

– Как... вы... сказали? – отрубил Шмит по одному пронзительные – трехлинейные пульки – слова.

– ...Девчонку, говорю, завел, так и думаешь! Погоди-ка, миленок, будет она по рукам ходить, как и прочие наши. А то ишь-ты, мы-ста, не мы-ста!

Твердый, выдвинутый вперед подбородок у Шмита мелко дрожал. Пол скрипнул, Шмит сделал шаг – отвесил генералу резкую, точную, чеканную, как и сам Шмит, оплеуху.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.